




В.Г. Бабенко

Будоври



Москва, 2019

Владимир Бабенко

Бубыри (сборник)

«Товарищество научных изданий КМК»

2006–2008

УДК .161.1-32+59(470+571)(092)(081)Бабенко В. Г.
ББК 84(2=411.2)6-44я44+28д(2)Бабенко В. Г.

Бабенко В. Г.

Бубыри (сборник) / В. Г. Бабенко — «Товарищество научных изданий КМК», 2006–2008

ISBN 978-5-907099-88-3

Владимир Григорьевич Бабенко, доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и экологии Московского педагогического государственного университета, член союза писателей России, автор более 900 научных, научно-популярных, учебных и художественных публикаций (в том числе свыше 100 книг). «Бубыри» – сборник, куда вошли рассказы из книг «Записки орангутолога» (2006) и «Барский театр» (2008). В предлагаемой книге также рассказывается о людях, посвятивших себя профессии зоолога и о невероятных приключениях, которые случаются почему-то именно с ними. О научной работе зоологов сами за себя говорят монографии, книги, статьи, тезисы и отчеты. А вот как этот материал добывается и что остается «за кадром» и вообще, откуда вырастают, как воспитываются, где учатся люди этой редкой и замечательной профессии, известно немногим. Все истории, написанные в этой книге – подлинные, все они случились с автором, его друзьями, приятелями или знакомыми. Автору оставалось только «сшить» разрозненные эпизоды в единое повествование.

УДК .161.1-32+59(470+571)(092)(081)Бабенко В. Г.
ББК 84(2=411.2)6-44я44+28д(2)Бабенко В. Г.

ISBN 978-5-907099-88-3

© Бабенко В. Г., 2006–2008

© Товарищество научных изданий
КМК, 2006–2008

Содержание

Часть 1. Котлеты из серого кита	7
Бубыри	7
Ротонда	12
Метис	23
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Владимир Григорьевич Бабенко

Бубыри

© Бабенко В.Г., 2019

© Товарищество научных изданий КМК, издание, 2019

© Чайка Д., обложка, 2019

Часть 1. Котлеты из серого кита

Бубыри

Я открыл глаза, в полной темноте встал, шлепая босыми ступнями по теплым домотканым половикам (иногда попадая на не застеленный прохладный земляной пол) пробрался в сени, еле освещенные крохотным оконцем, и вышел из хаты, чтобы, наслаждаясь одиночеством, обойти свои владения.

В мягких розовато-серых утренних сумерках светился белый головной платок бабушки, которая, откинув плетеную ивовую петлю калитки, входила во двор. Она возвращалась с базара: свежей рыбой там начинали торговать затемно.

Воркование горлицы только подчеркивало тишину утреннего штиля. Я вышел на улицу.

Грунтовая дорога была покрыта толстым бархатистым слоем светло-серой пыли. Ночные путешественники разукрасили эту чуткую поверхность. Вот отпечатки гусениц микроскопических тракторов – здесь наследили лапками насекомые. Встречались и прерывистые зигзаги со смазанными ямками по краям – пыль даже для ящерицы была слишком нежной. Изредка попадалась непрерывная извивающаяся лента: с одного огорода на другой переползала змея. В пыли лежали и красивые, коричневые с белыми прожилками надкрылья мраморных хрущей – остатки ночной охоты летучих мышей.

На плотной как асфальт обочине блестели дорожки высохшей слизи. Они всегда начинались из придорожной травы, а потом свивались в плотные спирали, блестящие, словно серебряные монетки – это ночью бродили улитки.

Я вернулся во двор, прошел за хату, где из-под края крыши свешивалось огромное осинное гнездо, и несколько минут любовался волнообразными узорами с чередованием различных оттенков серого и бежевого: наверное, насекомые приносили строительный материал – жеваную древесину из разных мест.

В саду под грушевыми деревьями лежали насмерть разбившиеся плоды, уже облепленные ранними осами (дед, чтобы угостить меня целыми дулями, аккуратно снимал их маленьким металлическим сачком на длинной палке).

Обходя шершавые стволы вишен, на которых светились гладкие, словно окатанные морским прибоем янтарные натеки, я на ветвях нашел только несколько висевших подсохших ягод, черных, сморщенных и сладких как мед.

В густой листве абрикоса оранжевые плоды были совершенно незаметны, зато на серой, с редкими былинками земле лежали подаренные мне прошедшей ночью: все спелые, с красноватыми веснушками, а один, треснувший по шву, показывал влажную коричневую косточку.

За шелковицей, под которой сухая земля была раскрашена фиолетовыми кляксами упавших ягод, начинался обильный южный огород. Там в полном безветрии висел чудесный аромат помидорных листьев – запах, навсегда связанный у меня с украинским летним утром. Томаты на бабушкином огороде были не банально-красные, а благородно-розовые, каких-то невероятных размеров, к тому же плоские, неровные, с золотым нимбом у черешка. На боку первоклассного спелого плода обязательно проходила ломаная расщелина; ее края уже чуть подвяли, а в глубине маняще поблескивали крупинки, словно кто-то уже заранее присыпал помидорную рану мелкой солью.

Я с утренней добычей садился на скамейку у белой стены хаты в тени огромной раскидистой дикой груши (три нижние ветки были привиты тремя различными сортами, и на них висели разномастные плоды, зато вся вершина была покрыта россыпью мелких как горох жел-

тых «дичков»), смотрел на соломенную крышу соседней хаты, в которой воробьи проделали множество нор, и думал, что хорошо бы залезть туда и достать птенца.

Над грушей с нежным негромким курлыканьем пролетала стая щурок. Одна птичка, раскинувшая крылья и от этого ставшая похожей на бумажный самолетик, сделала круг над хатой, сверкнув в лучах взошедшего солнца золотой щечкой.

На плетне сидел маленький серый паук. Он поднял вверх брюшко и старательно выпускал паутину. Серебряная прядь висела над ним вертикально, как дым над трубой в морозное утро. Паук, наверное, думал, что паутина такой длины удержит его в воздухе, подпрыгнул, но нить была явно коротка для воздухоплавания, и он шлепнулся вниз.

Позвали к завтраку.

Только что собранные помидоры были нарезаны огромными ломтями, перемешаны с кружками лука и залиты самодельной душистой «олией». В миске дымилась присыпанная укропом вареная картошка, в большой тарелке лежал утренний бабушкин «улов» – поджаренная и уже охлажденная плотва (по местным понятиям, горячую рыбу есть было вредно). Чая не пили совсем (помню, как это меня вначале удивляло), зато стояла кринка с кисловатым компотом. И, конечно же, бабушка уже успела испечь пирожки. Я разглядывал их пористые бока, и, сгоняя ос, выбирал те, которые изнутри светились медовым цветом, – с яблоками.

Как всегда после завтрака начинались сборы на реку. Казалось, что наша семья, приехавшая погостить к родственникам, переселяется в неведомые страны и нам предстоит несколько дней идти через пустыню. В колоссальные полотняные сумки паковалась приготовленная бабушкой провизия: огромный серый валун паляницы, пирожки, бутылки с питьем, круглые дыньки-«колхозницы», маленькие сизо-зеленые кавунчики и, конечно, несметное количество помидоров, груш, абрикосов, вареных яиц, жареная курица и рыба.

Наш караван тронулся в путь, когда солнце уже палило вовсю, и в мире господствовали только два цвета – ярко-синий и золотой.

Я с нетерпением ждал, когда мы дойдем до крайней хаты, где на солнечной стороне, на подоконнике, в недрах огромной пузатой бутылки зрела наливка: в пурпурном сиропе над толстым слоем свекольного цвета сахарного песка парили плотные стаи вишен.

На другой стороне улицы весь плетень пестрел глазками вьюнка: белые кружки с голубыми, фиолетовыми или розовыми ободками. К вечеру цветки-однодневки умирали, и я каждым утром старался угадать, где появится новый зрачок.

Неподалеку рос огромный, весь серый от пыли куст полыни, в который словно кто-то бросил обрывки оранжевой пряжи. Я попытался вытянуть одну из этих «ниточек» и с удивлением обнаружил, что, во-первых, это тоже растение, а во-вторых, что оно смертельной хваткой держится за полынь.

А еще дальше строили новую хату. Там человек двадцать мужиков (наверное, все родственники будущего новосела) с закатанными до колен штанами делали саманный кирпич: босыми ногами прессовали в деревянных формах солому, заливая ее густым глиняным раствором. Поодаль сушились ряды брусков, разномастных в зависимости от готовности – цвета какао, постепенно разбавляемого молоком.

За селом дорога сначала ровно шла в тени акациевых посадок, а затем начинала петлять по степи. На моих ногах появились белые полосы, прочерченные на загорелой коже колючими травинками, а сандалии забились половой.

По обочинам стремительно носились неуловимые ящерики, коренастые, короткохвостые, в изумительном черном крапе.

У муравьиных норок желтели кучки пленок от семян – крошечные тока насекомых.

Из-под ног то и дело взвивались серые кузнечики. Они разворачивали свои чудесные голубые крылья, с треском летели над дорогой, затем, складывая их, падали вниз и мгновенно исчезали, сливаясь с грунтом. Сколько раз я, крадучись, подходил туда, где приземлилось насе-

комое, но оно всегда оказывалось не там, где я предполагал, а чуть в стороне и пугало меня своим шумным синекрылым стартом.

Иногда с высушенной южным солнцем былинки взлетал другой кузнечик – длинный, соломенно-желтый, с мордочкой, похожей на капюшон куклуксклановца, с библейским именем «акрида».

Тропинка шла мимо небольшого, с десяток могил, кладбища. Некоторые были обнесены деревянными заборчиками, другие были просто обозначены крестами. На одной тянулся вверх одинокий запыленный стебель розы, увенчанный великолепным свежим темно-красным цветком.

Огибая кладбище, двигалась узкая длинная колонна марширующих куда-то блестяще-рыжих муравьев. Я, конечно же, пошел в ее арьергарде в надежде узнать, где же находится их поселение. Проследив, как муравьиный ручеек стёк в овраг, я полез было туда, но тут меня окликнули, и я вынужден был догонять своих.

Я шел рядом с родителями, светило солнце, синело небо, на нем кудрявились маленькие облака, по балкам темнели заросли акации, вдали сверкала река, желтела степь, среди которой петляла светло-серая лента дороги – квинтэссенция счастья.

Наконец мы добрались до реки. Днепровский песок был чуть желтоватый, мелкий, чистый и нестерпимо горячий. На прибрежных песчаных холмах (тогда они мне казались настоящими барханами) ничего не росло, ивовые кусты теснились лишь у самой воды, не рискуя подняться вверх по склону.

Лагерь разбили под ивами. Прямо на песке расстелили сиреневую скатерть, на нее разложили снедь, тут же щедро приправляемую мелким песком. В затончике, дожидаясь своего часа, плавали арбузы и дыни, там же у самого берега были по горлышки закопаны бутылки, заткнутые кукурузными початками – темно-розовые – с морсом и бежевые – с ячменным кофе.

После обеда отец взялся за удочки, а я, круша пятками своды галерей, построенных в сыром песке медведками, побрел по берегу. Мимо лица, заставив меня вздрогнуть, пролетела с крутого откоса в воду огромная зеленая, в черных пятнах лягушка. Интересно, зачем она так высоко забралась? Оказавшись в реке, земноводное неподвижно распласталось, свесив вниз лапы. Плотвичка дернула ее за палец – не червяк ли? Лягушка дрыгнула ногой, и испуганная рыбешка выпрыгнула из воды, издавая плавниками жидкое жужжание.

Песчаное дно мелководья исчертили ракушки. Некоторые из их следов напоминали круг, другие – восьмерку, а третьи – знак морского узла, которым, как известно, подписывался пират Флинт.

В глубине, у коряги неподвижно висел пятнистый щуренок, а по поверхности старицы скользили рыбы, светясь прозрачно-зелеными спинками, толстобрюхие, как самки гуппи. Я бросил в них слепленный из мокрого песка комочек. Рыбы метнулись в разные стороны, но в глубину не ушли – их не пускали раздувшиеся брюшки. Это была «глистастая» рыба, набитая паразитами настолько, что не могла погружаться. Ее, забавы ради, ловили руками местные ребятишки, да еще коршуны, но уже для пропитания.

Вдалеке по мелководью неторопливо брел аист, именуемый здесь черногузом. Пронзительно пискнув, над самой водой пролетел синей искрой зимородок. С заливчика неожиданно взлетел серый куличок, а в ясном небе над Днепром парил коршун. Он держал в лапах рыбу, и, наклоняясь, клевал ее. И за все время пока я следил за его полетом, он не уронил вниз не единого кусочка!

На песке среди прутьев, от невыносимой жары черных и хрупких, как угольки, я нашел сброшенную шкуру огромного ужа: полупрозрачную, хрустящую как целлофан и совершенно целую (даже глаза сохранились!).

Я прошел еще немного по берегу, и здесь меня сначала до смерти напугал лежащий без движения здоровенный, черный уж (может быть тот самый, чью шкуру я нашел), который

меланхолично заглывал лягушку, а чуть позже – с треском вывалившееся из кустов стадо соломенно-желтых коров.

Было жарко и безветренно. Я сел на песок. Оказывается, если сложить ладонь трубочкой, поднести ее к глазам и смотреть только на отражающиеся в воде кусты, то они приобретают вид зеленых сталактитов и фантастических кораллов.

Эту иллюзию разрушали речные обитатели, создающие помехи на «экране». Летящая поденка медленно садилась на поверхность реки, а потом взмывала вверх. А снизу рыба так же нежно касалась места ее взлета. Наконец их соприкосновения совпали, и бабочка легко исчезла под водой.

Большие стрекозы купались, со всего разлета ударяясь о воду, а потом взлетая. А черно-синий самец мелкой прибрежной стрекозы ухаживал за сидящей на травинке зеленоватой самкой: сложив крылья и подняв вверх кончик брюшка, скользил перед своей подружкой, как крошечный корабль с пиратскими парусами.

Глядя на медленно текущую огромную реку, на голубое небо, шурясь от висевшего в зените солнца, я думал, что, наверное, где-то здесь, в районе нынешнего Днепропетровска, на одной из этих желтых песчаных кос и происходила знаменитая битва Добрыни Никитича со змеем, когда гигантская рептилия враспloh напала на безоружного богатыря, но он успешно отбил ее своей шляпой, предварительно наполнив ее пудами вот этого самого песка, который сейчас струится между моих пальцев.

В день нашей первой вылазки на Днепр я безнадежно испортил свой новый сачок для ловли бабочек, но, все-таки изловчившись, сумел поймать этой subtilной конструкцией с десяток мальков, среди которых была крошечная в зеленоватых разводах рыбка с топоришками девятью зубчиками на спине. Я слышал про нее: это колюшка – та самая, которая под водой строит гнезда! Очень хотелось подержать ее в аквариуме и посмотреть, как она это делает.

Я придумал, из чего можно было сделать добротную снасть. Из майки. Я завязал один ее конец узлом, потом зашел в реку и, касаясь щекой воды, быстро провел «сеть» у самого дна, поднял ее и с нетерпением заглянул внутрь.

Чего в ней только не было! И маленькие, но уже круглые и блестящие, как никелевые монетки, лещи, и пятнистые, длинные, как макароны, щиповки, у которых под каждым глазом выдвигалось острое и прозрачное, как кусочек стекла, лезвие, и полосатые окуньки, и забавные щурята, совсем не страшные из-за своих крошечных размеров. Попадались и бычки-бубыри. Я их переворачивал, чтобы рассмотреть их круглые, похожие на присоски плавнички на брюшке.

Среди прядей водорослей, по которым ковылями неуклюжие, как марсоходы, водяные скорпионы, и где причудливо выгибались тонкие личинки стрекоз, среди серебристой толпы безликих мальков лежал крупный (крупный, конечно же, для моей снасти, и неукротимо увеличенный моим восторгом) медно-красный линь.

Я с горечью подумал, что этого красавца придется освободить, так как родители наверняка не обрадуются моему желанию повезти его в Москву живьем.

С сожалением выпустив линя в заросли водорослей, где он мгновенно растворился, я продолжил свой промысел. И к обеду в моей банке плавали с десяток колюшек.

Под вечер наше утомленное семейство медленно возвращалось домой по дороге, розовой в лучах заходящего солнца.

Все насекомые попрятались, ящерицы тоже; и следа не осталось от прохождения колонны рыжих муравьев. Лишь одинокая роза на безымянной могиле сохраняла свою безупречную свежесть и по-прежнему ярко пылала.

К нашей хате мы подошли в сумерках. Я едва успел пересадить свой улов в свежую воду, как позвали ужинать.

«Вечеряли» во дворе уже в такой темноте, что тарелки еле различались, а спелые помидоры казались зелеными. Настоявшийся к вечеру бабушкин борщ был восхитителен, особенно если макать в него куски паляницы.

Потом меня отправили спать.

Но заснуть я никак не мог – мне казалось, что кто-то ходит по крыше.

Я встал и наощупь выбрался наружу. В сенях мимо бесшумно проскользнула невидимая кошка, нежно и совсем не страшно коснувшись моей ноги пушистым хвостом.

Я прислушался: на крыше действительно кто-то изредка топал ногами. Я, вдоволь набоявшись, наконец, понял, что это падают абрикосы. А потом услышал, что и под старой шелковицей словно идет редкий дождь.

На небе сияла луна, такая огромная и такая яркая, что казалось – какое-то одноглазое чудовище, не мигая, смотрит сверху.

Побеленная стена хаты светилась, как экран кинотеатра. На ней маленький богомол, словно танцуя, охотился за комарами: пробежка, остановка, медленное отведение сложенных хищных лапок два раза влево, два раза вправо – затем бросок на жертву.

Повсюду звенели сверчки-трубачики, где-то горестно выла собака, да на окраине села женский голос кого-то звал, протяжно и мелодично.

Я отодвинул плетеную калитку и вышел на улицу. Все дома стояли темные, только вдалеке тускло краснело окошко.

На просторе сияние луны было настолько ярким, что она казалась совсем одинокой в бездонном черном небе.

От сада начинало веять прохладой, все запахи огорода перебивал сладковатый аромат нагретых помидоров и терпкий – полыни, а какой-то невидимый придорожный куст, гремевший от хора живущих там трубачиков, благоухал смесью липы и одуванчика.

Я побрел по середине улицы, старательно ставя ступни на вершины серебристых пылевых гряд.

Размышляя о том, что, наверное, и лунный грунт такого же цвета, я оглядывался, наблюдая за тем, как невесомая сухая жидкость осторожно затекает внутрь человеческих следов, медленно размывая их очертания.

Когда, возвращаясь, я открывал калитку, над моей головой скользнул, шуршащий как пламя свечи на ветру, кожан. Потом он снизился, зигзагами понесся над серебристой дорогой и, наверное, на целых тридцать шагов я мог различать его синюю метущуюся тень.

Ротонда

Николай Николаевич закончил разбирать груды позеленевших от времени монет, подаренных музеем местным нумизматом-любителем, и взглянул в окно. Светало. Подростки поджарые соседские цыплята, которых хозяева не кормили принципиально, стали разбредаться от уличного фонаря, где они еще с вечера несли вахту, ожидая, когда сверху на землю свалится очередная ночная бабочка. Тогда к несчастному насекомому с динозавровым топотом неслось стадо бройлеров-переростков.

Николай Николаевич аккуратно закрыл чернильницу, вытер перо о специальную предназначенную для этого кожаную подушечку, вышел на улицу и потрогал одну из шести стройных колонн ротонды. Белая краска почти высохла. Николай Николаевич вернулся к себе в музей, посмотрел в старинное мутное зеркало, обрамленное резной деревянной рамой (в зеркале отразился сероглазый остроносый худощавый человек с коротким ежиком седеющих волос), прилег на пустую кушетку (на соседней лежал Обломов) и, довольный тем, что успел сделать за ночь, закрыл глаза и стал засыпать.

В это время под раскрытым окном его учреждения на улице Верхняя Лупиловка в селе Ново-Чемоданове (Николай Николаевич, сколько не бился, никак не мог выяснить этимологию названий родной улицы и родного села, а, кроме того, он никак не мог обнаружить в окрестностях село Старо-Чемоданово или хотя бы просто Чемоданово, а ведь где-то такое должно быть!), так вот, на улице Верхняя Лупиловка раздался сначала барабанный грохот, и затем и вой горна. Причем по звукам можно было определить, что барабан драный, горн мятый, а барабанщик и трубач – никудышные музыканты.

Николай Николаевич приподнялся на своей кушетке и выглянул через плечо Обломова в окно. По Верхней Лупиловке шел небольшой отряд тимуровцев, все в красных галстуках, а у двоих были те самые музыкальные инструменты. Ими тимуровцы созывали своих соратников – с утра совершать добрые дела.

Но сегодня добрые дела им не дал свершить (по крайней мере, на Верхней Лупиловке) механизатор дядя Петя Рассолов. Час назад дядя Петя вернулся с ночной смены, надеясь выспаться. А тут ему как раз и помешали ударные и духовые.

Рассолов в одних трусах выскочил на улицу, схватил первое, что ему подвернулось под руку (а подвернулись ему грабли), и страшными механизаторскими ругательствами рассеял отряд пионеров.

Николай Николаевич облегченно вздохнул и прилег на кушетку. Он подмигнул пристально смотревшему на него Обломову, перевел взгляд на портрет его создателя, затем закрыл глаза и заснул.

Спокойно ему удалось поспать целых три часа. В восемь Ново-Чемоданово начало просыпаться: с реки послышалась оглушительная песня Аллы Пугачевой. Это по Липовке шла рейсовая баржа, забиравшая из местного карьера щебень.

На барже включали музыку не из любви к эстраде: на фарватере, где был самый клёв, стояли рыбацкие лодки. У капитана был выбор: либо посадить баржу на мель, либо утопить рыбака, либо согнать его с фарватера. Сегодня капитану, очевидно, попался особо упрямый (или просто глуховатый) рыболлов, потому что Пугачева неожиданно прервала своего «Арлекино» и на всю реку, а также на всё Ново-Чемоданово (усилитель на барже был мощный) раздалась изошренная речь начальника корабля, предлагавшего рыбаку отгрести в сторону. Судя по тому, что Алла Борисовна вскоре продолжила петь, путь барже освободили.

Николай Николаевич встал, умылся из медного рукомойника (Архангельская губерния, конец XIII века) и прошелся по своему музею.

Владения Николая Николаевича располагались в старинном двухэтажном купеческом особняке. Прежний хозяин этого дома был, вероятно, любителем античных мифов, потому что из своего жилища он создал настоящий трехмерный лабиринт из множества комнат, соединенных кривыми узкими коридорчиками и крутыми лестницами.

Любой другой музейный работник ужаснулся бы от такого помещения, но Николай Николаевич был от него в восторге. Он был художественной натурой (хотя в его вузовском дипломе в графе «профессия» стояло «философ»), и поэтому экспозиция у него была совершенно бессистемной, но зато очень запоминающейся.

В одном полуосвещенном проеме посетителей пугало чучело неандертальца, из другого скалил зубы череп медведя, под лестницей была устроена русская дыба с муляжом истязаемого, в узком проходе друг напротив друга висели две шинели времен гражданской войны – одна красноармейца, другая – добровольческой армии.

Большую залу украшала огромная картина, выменянная Николаем Николаевичем в краеведческом музее заполярного поселка Лабытнанги. Живописное полотно называлось «Ленин на Таймыре». На нем был изображен вождь мирового пролетариата в зимней тундре: Владимир Ильич в кухлянке, стоя на нартах, держал речь перед ненцами, оленями и ездовыми собакам.

Наконец, несколько комнат были декорированы раскрашенными скульптурами из папье-маше, изготовленными лично Николаем Николаевичем.

Так, в той самой коморке, где ночевал сегодня Николай Николаевич, на соседней с ним кушетке как раз и лежало произведение краеведа, облаченное в настоящий гражданский мундир того времени: Обломов, приподнявшись на локте, всматривался в стоящее напротив большое купеческое трюмо. Над трюмо висел портрет литературного отца Обломова – Ивана Александровича Гончарова. Так Николай Николаевич наказал писателя за его трактовку (однобокую, на взгляд дипломированного философа) образа русского интеллигента.

В многочисленных комнатках и клетушках, чуланах и чуланчиках, кривых коридорах и коридорчиках располагались ряды самоваров, утюгов (среди них выделялся пудовый гигант позапрошлого века, предназначенный для разглаживания голенищ солдатских сапог), навесных замков, огромных ключей, весов и гирь, вологодских и архангельских прялок, водочных штофов, икон, настенных часов, старинных бумажных денег, темных картин, пицалей, монет, алебард и битых горшков – всё то, чем гордится любой краеведческий музей.

Николай Николаевич взглянул на ходики (Тверская губерния, конец XIX века). Стрелки показывали девять, – то есть до открытия местной поликлиники был целый час.

Ночью Николаю Николаевичу пришлось поднимать тяжести, и у него прихватило поясницу, да так что надо было идти к врачу.

Николай Николаевич вышел во двор, загнал свой грузовой велосипед в сарай, потрогал белоснежную колонну ротонды. Краска совсем высохла. Потом он вернулся в особняк.

В одном из чуланов краеведческого музея размещалась коллекция монет. Денег на музей поселок не выдавал, и Николай Николаевич во всем обходился подручными средствами. И в нумизматическом чулане вся коллекция (среди которой светился надраенный зубным порошком древнегреческий серебряный статер с головой Пана на аверсе и Химерой на реверсе) была просто посажена на бревенчатую стену с помощью пластилина.

Одно место пустовало – исчез огромный красный екатерининский медный пятак.

Николай Николаевич кряхтя (тяжелая ночная работа еще раз напомнила о себе болью в пояснице) нагнулся, пошарил по полу, нащупал там пропажу, затем, разгладив и разогрев пластилиновую нашлепку рукой, вернул беглеца на место.

Потом краевед взял оселок и с любовью подправил лезвие бердыша (Рязань, середина XVII века), снял со стены безжалостно расшерленный милицией огромный револьвер (конец XIX века, Северная Америка, флотский образец) и бережно взвел курок. Хорошо смазанный механизм аппетитно чавкнул.

Только Николай Николаевич повесил оружие на место, достал с притолоки ключ и направился было к старинным английским часам, как с улицы, вернее со двора соседского дома раздался крик. Николай Николаевич положил ключ на место и выглянул в окно.

На завалинке сидел сухопарый старик по прозвищу Хлест. Во рту у Хлеста была огромная самокрутка, а в руке – кипятильник. Спирали кипятильника разошлись, и издали казалось, что в общем-то не сентиментальный Хлест (за какие-то грехи он в свое время отсидел шесть лет и с того времени у него сохранился знак – татуированные веки) держит в руках огромную серебристую хризантему. Хлест бережно приложил «козью ножку» к «хризантеме» и самокрутка тут же задымилась.

Экономивший на спичках Хлест производил эту процедуру молча, зато голосила переживающая за кипятильник бабка, так сказать, супруга Хлеста, она же – хозяйка бройлеров. Николай Николаевич с интересом посмотрел на Хлестову супружницу – не из-за того, что у нее был пронзительный голос (к нему краевед давно привык), а потому, что утреннее солнце окрасило ее лицо в необычайно яркий апельсиновый цвет.

Хлест, раскурив самокрутку, хладнокровно выдернул вилку кипятильника из розетки, отдал отключенный электроприбор по-прежнему орущей бабке, взял удочки, открыл калитку и вышел на улицу.

Беззаботно шедшее ему навстречу стадо коз при виде рыболова мгновенно развернулось и ускакало прочь. Хлест, дымя самокруткой, чуть скривил рот в улыбке и направился к реке.

Но тут путь ему преградили два местных мужика-мелиоратора.

– Хлест, ты трубы не брал? – спросил один.

– Не брал. А какие трубы?

– Ну, наши. Десятидюймовые.

– И эти не брал. На хрена они мне? У меня бабка огород поливает. Из колодца.

– Какая-то сука шесть труб ночью с поля уволокла. И следов никаких нет. Только велосипедные. Ну не на велосипеде же их уперли? А у нас из-за этого «Фрегат» простаивает. И поле не полито. Придется на базу ехать. Ты их точно не брал? А может, знаешь, кто брал?

– Не нужны мне ваши трубы. И кто брал их – не знаю. И вообще некогда мне. Пашка сказал – вырезуб брать начал. Так что я на реку. Покедова.

– Прощай, – сказали мелиораторы.

Они на всякий случай заглянули во двор Хлеста, потом равнодушно скользнули взглядами по белой стройной ротонде, совсем недавно появившейся во дворе краеведческого музея, и пошли по Верхней Лупиловке дальше, расспрашивая всех встречных о трубах и с надеждой заглядывая за заборы односельчан.

Николай Николаевич снял свой синий рабочих халат, надел пиджак, вышел во двор, еще раз любовно погладил колонну ротонды и направился в центр Ново-Чемоданова.

Навстречу ему шло стадо коз. Животные боязливо обошли штакетник, огораживающий двор Хлеста, и весело устремились дальше по улице, прыгая через канавы.

Надо заметить, что вся Верхняя Лупиловка была перекопана не очень широкими и не очень глубокими поперечными рвами. Жители Нижней Лупиловки завидовали верхнелупиловцам потому, что их улица была магистральной – там проходили транзитные грузовики, везущие полезные (а иногда и очень полезные) грузы. Зная это, верхнелупиловцы провели специальные землеустроительные работы. Поэтому залетевший в Ново-Чемоданово грузовик даже на самой малой скорости так трясло, что часть везомого добра оказывалась на земле, а впоследствии – в закромах сельчан.

Но и верхнелупиловцы и, конечно же, нижнелупиловцы черной завистью завидовали бабке, жившей на краю села. Как раз у ее дома дорога делала настолько резкий поворот, что примерно раз в неделю к ней в огород влетала машина. И бабка брала с каждой штраф за потравленную зелень. А потом, когда автомобиль уезжал, разравнивала огород и засаживала

его припасенной рассадой – до следующей жертвы. Бабка настолько поднаторела в этом бизнесе, что стала прекрасно разбираться в марках машин, а по ним уже судила о платежеспособности водителя. Так с «запорожца» она взимала сотню рублей, с лендровера – сотню баксов.

Николай Николаевич задумчиво брел в поликлинику, механически перепрыгивая через канавы (из одной ее хозяйин собирал в ведро свежепойманную картошку).

С крутого берега, по которому проходила Верхняя Лупиловка, была хорошо видна Липовка. На фарватере стояло с десятков рыбацких лодок (в какой-то из них ловил своего вырезуба и Хлест).

Зады верхнелупиловских дворов выходили на берег Липовки, и поэтому весь склон представлял собой чередование зеленых огородов и пестрых помоек. У некоторых сараев виднелись холмики створок перловиц – словно кухонные кучи древних полинезийцев. Жители Ново-Чемоданова откармливали своих свиней и кур этими моллюсками (а злые языки из соседних сел утверждали, что чемодановцы тайно едят мягкотелых и сами).

Рядом с каждой помойкой по всему крутому берегу реки виднелись ладные скамейки. Все они были не в пример заборам тщательно выкрашены (преобладали зеленые и голубые цвета), и к каждой шла, аккуратно обходя навозные кучи, тропинка, иногда заботливо и даже со вкусом выложенная плитняком. Верхнелупиловцы любили после трудового дня отдохнуть, посмотреть на свою Липовку, на обширные заречные поля, прислушиваясь, однако, не идет ли по ловчей улице грузовик, сбрасывающий в канавы плату за проезд.

Так, не торопясь, Николай Николаевич добрался до центра Ново-Чемоданова. Здесь Верхняя Лупиловка была заасфальтирована. На этом покрытии перед входом в школу виднелась обширная, выполненная мелом надпись «военрук – козёл».

Николай Николаевич перешагнул через букву «ё», мысленно соглашаясь с изложенным на асфальте тезисом. На прошлой неделе ретивый военрук заставил всех учеников под угрозой «пары» постоянно носить в портфелях и ранцах обязательный набор жизненно необходимых предметов на случай внезапно разразившейся ядерной войны. Туда входили: марлевая повязка, спички, свечка, рыболовные крючки и 20 метров лески, иголка, нитки, а из медицинских средств – димедрол, активированный уголь и презерватив. Когда же недоуменные родители спросили, зачем последний, действительно нужный предмет необходим и первоклассникам, военрук объяснил, что это – самый удобный, не занимающий в свернутом состоянии места сосуд для хранения суточной нормы питьевой воды.

Перед этим аргументом родители спасовали, но выразили свой протест на асфальте.

Николай Николаевич, миновав местный мясокомбинат «Пионерский», пройдя мимо столовой, в которой было всегда одно и то же дежурное блюдо «Плов узбекский – вермишель со свиной», наконец добрался до поликлиники.

Краевед, мысленно крестясь, прошел мимо кабинетов стоматолога и хирурга и сел в очередь к терапевту.

А боялся этих кабинетов Николай Николаевич не зря.

Ныне гражданский хирург, орудовавший в Ново-Чемоданове, в свое время был военно-полевым врачом, прошедшим афганскую кампанию. Больше всего на свете он боялся гангрены. Поэтому по законам военного времени он у чемодановцев по возможности отрезал всё и до конца.

Кроме того, хирург прославился по-военному краткими и четкими диагнозами, которые вносил в истории болезней своих пациентов, типа «обожжено левое полукопие и яйца разбиты о Большую Лупиловку» (последствия местного ДТП), «каждая грудь весом по семь килограмм» (заключение после маммологического осмотра пациентки).

Неожиданно для себя Николай Николаевич оказался в очереди к терапевту рядом с супругой Хлеста. К удивлению краеведа и здесь, в полутемном коридоре, ее лицо по-прежнему казалось ярко-оранжевым.

Николай Николаевич по специальности не был врачом, а был философом. Но даже он понял, что у Хлестихи какая-то опасная болезнь, поэтому на всякий случай отодвинулся от нее подальше, оказавшись рядом с владельцем гипсовой повязки на руке.

Николай Николаевич знал его. Это был местный пастух. От обычных пастухов этот отличался своей ленью (он даже мочился, не сходя с лошади). А, кроме того, он был отъявленным браконьером.

Николай Николаевич в силу своей интеллигентности не стал приставать к соседу с расспросами, как ему удалось остаться с целой конечностью, несмотря на то что он уже по крайней мере один раз посещал страшный кабинет хирурга.

Но загипсованный пастух рассказал свою историю сам.

Оказывается, браконьер прибегал к огнестрельному оружию только в крайнем случае, чаще используя капканы и петли. А вот крайний случай как раз и привел его к тяжелому повреждению руки и к легкой контузии.

Инцидент произошел три недели назад. Уже под вечер пастырь, сидя на своей кобыле, гнал стадо домой. Вернее, умные коровы и бычки сами шли в село, а пастух ехал сзади. И в это время он увидел дикого кабана, подвинка, спокойно кормящегося в кукурузе. У ново-чемодановского ковбоя в душе стали бороться две мотивации: природная лень и неумная жажда свинины. Компромисс был быстро найден. Пастух достал из чересседельной сумы ружье, собрал его и для более точного прицеливания положил ствол на голову лошади. Он уже стал медленно тянуть курок, но, заметив, как справа и слева от ствола заходили настороженные лошадиные уши, подумал, что ко всему привычная кобыла (давно смирившаяся с тем, что с нее справляют малую нужду), на этот раз может испугаться. И в этом случае природная лень подсказала правильное решение. Кабальеро не стал спешиваться, но достал все из той же чересседельной сумы телогрейку, положил ее на темя животного так, чтобы рукава закрывали уши, и, приладив ствол ружье на покрытую лошадиную голову, прицелился и выстрелил.

Охотник-пастух очнулся в той же кукурузе, где всё это началось. В пяти метрах от него, воткнувшись стволом в чернозем и поддерживаемая стеблями маиса, стояла одностволка.

Ни стада, ни кобылы, ни телогрейки, ни кабана в окрестностях не наблюдалось. Судьба последних двух так и осталось неизвестной. Стадо же самостоятельно добралось до поселка, где коровы безошибочно разбрелись по родным дворам. Насмерть перепуганную кобылу поймали только через три дня, а сам пастух этим же вечером оказался в лапах у полевого хирурга. Тот, сказав, что контузия пройдет сама, и с сожалением констатировав, что перелом оказался несложным, а поэтому ампутация не состоится, компенсировал ее чудовищным количеством гипса, в которое была упрятана рука пострадавшего.

Как только пастух закончил свое повествование, двери кабинетов хирурга и терапевта почти одновременно открылись и проглотили рассказчика, и супругу Хлеста.

Николай Николаевич остался в одиночестве. Чтобы как-то его скрасить, он стал смотреть в полуоткрытую дверь стоматологического кабинета. Там всюду шел лечебный процесс. Понаблюдав с минуту за несчастным, находящимся в кресле дантиста, Николай Николаевич искренне порадовался, что у него не болят зубы, и поклялся себе, что к местному стоматологу (впрочем, как и к хирургу) он ни при каких обстоятельствах обращаться не будет.

Бормашина была настолько древняя и маломощная, что сверло периодически застревало в зубе. Тогда дантист, остановив орудие пытки, извлекал бор вручную. Иногда сверло падало на пол. В этом случае стоматолог, наскоро вытерев бор полый своего халата, продолжал работу. Больной в кресле иногда вздрагивал и кричал. Николай Николаевич сначала подумал, что это естественная реакция нормального человека на работающий сверлильный аппарат. Но, присмотревшись, он заметил, что пациент иногда орет еще до процесса бурения зуба. А однажды ойкнул и сам врач, в очередной раз поднявши сверло с пола и пытаясь вставить его в патрон

бормашины. Николай Николаевич догадался, что аппарат к тому же «коротит» на корпус и не только сверлит зуб пациента, но и бьет током.

Размышления Николая Николаевича о чудесах ново-чемодановской стоматологии были прерваны терапевтом.

С криком: «Приема на сегодня не будет, у меня очень опасный случай – крайняя форма желтухи, я везу больную в район!», – она выскочила из кабинета, таща за руку оранжевую супругу Хлеста.

Николай Николаевич посмотрел им вслед и покинул чемодановскую больницу, решив, что поясницу он сам вылечит горчичниками дома.

Путешествие назад по поселку прошло без приключений, если не считать того, что ему встретились мелиораторы и стали допытываться, не он ли часом взял их трубы. Николай Николаевич сказал, что не брал.

Дома все было по-прежнему. Уже вернувшийся с реки Хлест отдыхал на завалинке. В зубах у него была огромная «козья ножка». По старой зэковской привычке Хлест берег спички. Очевидно, кипятильник был хорошо спрятан, и Хлест прикуривал тем же способом, каким добывают огонь, когда открывают олимпийские игры, – то есть при помощи солнечных лучей. В руках рыболова была огромная лупа. Хлест с ее помощью заставил тлеть рукав собственной телогрейки, а уже от этого трута ловко прикурил. Судя по тому, что весь левый рукав был в черных дырках, словно простреленный картечью, Хлест и этим способом пользовался нередко.

Николай Николаевич спросил соседа о здоровье супруги. Хлест хладнокровно ответил, что жену отвезли в больницу.

– Наверное, съела что-нибудь, – сказал Хлест.

И, как потом выяснилось, он оказался прав.

На крыльце своего краеведческого музея Николай Николаевич заметил Володю. Володя был местным писателем-натуралистом. В Ново-Чемоданове он был известен, кроме всего прочего, и тем, что затаскивал пишущую машинку в лес, на луг или в поле и там, вдохновляясь окружающей его природой, громко выстукивал очередной шедевр. За этим занятием его заставляли и рыбаки, и пастухи, и грибники, и ищущие уединения парочки.

Кроме того, Володя прославился своими курортными романами. Каждый год он отдыхал на юге и там, как и положено художественной натуре, отчаянно влюблялся, спускал на свою очередную страсть все отпускные и возвращался в родное Ново-Чемоданово без копейки денег.

В прошлом году он настолько поиздержался на курорте, что добирался до дома зайцем на перекладных электричках. Но на полпути его высадила бдительный контролер. Володя в отчаянии стал побираться на каком-то вокзале, пытаясь разжалобить своей любовной историей тамошних обитателей. Колхозницы, торгующие у путей малосольными огурчиками и горячей картошкой, не давали ему ни копейки и не хотели слушать. Торговки государственными пирожками на перроне, наоборот, слушали его очень внимательно, постоянно переспрашивая и жадно ловя подробности его любовных переживаний, но тоже ничего не давали. Единственным человеком, который помог Володе, был вокзальный милиционер. Страж порядка, приказав писателю быть кратким, выслушал бедолагу, дал ему рубль и посоветовал побыстрее убираться с территории вокзала.

Помимо этого Володя был заядлым краеведом. Именно поэтому он и пришел к Николаю Николаевичу.

Вчера, путешествуя по окрестностям Ново-Чемоданова, Володя в старинной дворянской усадьбе (по советским неписаным законам в ней был устроен дом умалишенных) где-то на задворках, у развалин гигантской каменной бани, в густых зарослях крапивы обнаружил небольшой старинный паровоз.

Паровоз, хотя и был тронут ржавчиной, но прекрасно сохранился. Когда дело касалось краеведения, Володя оставлял все свои художественные фантазии. Вот и сейчас он представил

изумленному Николаю Николаевичу не только промеры найденного механизма и прилично выполненный рисунок, но даже еще не просохшую фотографию (правда, не очень хорошего качества, так как писатель делал свои снимки старенькой «Сменой»).

Николай Николаевич разволновался. Судя по огромной трубе, по разнокалиберным колесам, по отсутствию кабины и по немыслимому числу рычагов и ручек, это было если и не творение Ползунова и Черепанова, то наверняка одна из тех первых паровых диковин, которая когда-то ползала по «чугунке» Российской империи.

Николая Николаевича смутила только решетка скотосбрасывателя, словно сделанная из спинок никелированных кроватей, да и красные серп и молот («Явно советский новодел», – решил проницательный Николай Николаевич).

Николай Николаевич взял у Володи координаты паровозной психлечебницы с намерением в ближайшее время лично осмотреть реликвию. Он хотел было ехать туда немедленно, но вспомнил, что его именно сегодня пригласил в гости директор соседнего музея воздухоплавания.

Николай Николаевич, решив, что увидится с паровозом завтра, направился на окраину села – к автобусной остановке.

Музей воздухоплавания располагался в особняке старинной барской усадьбы (почему-то не отданной под лечебное заведение). Перед входом в усадьбу, украшенным настоящими мраморными колоннами (Николай Николаевич внимательно их осмотрел и даже пощупал), стояли огромные деревянные пропеллеры старинных самолетов.

Краеведа встретил сам директор музея – Егор Александрович – курносый, с проступающей лысиной сангвиник.

– Вам повезло, – сказал после рукопожатия Егор Александрович. – Как раз сегодня экскурсия из города приехала. Посмотрите, как мы принимаем гостей. Всё увидите и услышите. И о воздухоплавании и об этнографии. Воздухоплавание в национальном духе, так сказать.

В это время, действительно, к дорическим колоннам подошла группа экскурсантов. Из дверей барского дома выскочила высокая чернокобая нарумяненная девка в старинном русском сарафане и кокошнике и затараторила:

– Я – Марьюшка, прислуга в барском доме. Прежде чем войти в наши хоромы, милостиво прошу отведать нашего хлеба-соли.

С этими словами она скрылась за дверь. Довольные началом старинного русского приема экскурсанты остались ждать Марьюшку снаружи.

Но Марьюшка задерживалась. Зато рядом с Егором Александровичем возникла высокая молодая брюнетка в джинсах и легкой кофточке. Девица не была мастером макияжа – ее щеки были явно перегружены пунцовой крем-пудрой.

– Егор Александрович, – негромко сказала она директору, – беда. Хлеб-соль куда-то делись.

– Это не беда, – спокойно ответил хладнокровный Егор Александрович. – Я сегодня как раз мимо булочной проходил и хлеба домой взял. Вот он и пригодился.

С этими словами Егор Александрович открыл свой дипломат, достал оттуда буханку черного хлеба и передал ее густо крашенной девке. Та схватила хлеб и за спинами ждущих экскурсантов стремглав побежала за угол особняка.

Николай Николаевич наконец узнал ее – ведь это она минуту назад в сарафане и кокошнике привечала гостей.

Вскоре дверь усадьбы снова открылась и Марьюшка, вновь одетая в старинный костюм, а вместе с нею и другой экскурсовод, пожилая дама, судя по костюму и по сюжету, – хозяйка особняка, вышли к гостям.

В руках Марьюшки был жостовский поднос, на котором и лежала буханка Егора Александровича.

– Марьюшка сегодня провинилась, закопалась, не успела вовремя дорогим гостям хлеба испечь. Великая это вина. Надо Марьюшку, негодницу, наказать, выпороть ее на конюшне. Будем пороть Марьюшку? – спросила экскурсантов «хозяйка».

– Нет, не надо, – нестройно заголосили добрые гости. – Простим ее.

Но Николай Николаевич услышал, как один, жадно посмотрев на яркую Марьюшку, негромко произнес:

– Будем!

Все экскурсанты (а с ними и два директора музеев) вошли в особняк.

В комнатах старинного дворянского гнезда было все как положено: портреты в рамках с облупившейся позолотой, напольные часы, пианино с неумело реставрированной фанеровкой, кресла и стулья, на которые, судя по всему, нередко присаживались и «хозяйка» и Марьюшка.

У самого входа висело старинное потемневшее зеркало, мутное, но лстящее дамам: все отражающиеся в нем фигуры были худыми и вытянутыми, как святые на картинах Эль-Греко.

Чтобы подчеркнуть, что это все-таки музей воздухоплавания, по углам комнат были представлены всё те же деревянные пропеллеры первых самолетов, макеты дирижаблей, воздушных шаров и парашютов, а на стенах – развешены старинные гравюры паровых аэропланов.

«Хозяйка» все это комментировала, а экскурсанты невнимательно, но вежливо слушали.

Так они добрались до главной залы, где в углу посапывал огромный самовар, а обширный стол был сервирован чашками, блюдами, тарелками с дымящимися блинами и плошками с вареньем и медом.

Рядом с фарфоровыми чашками почему-то стояли совершенно не гармонизировавшие с ними хохломские расписные деревянные стопки, а центр стола украшало огромное фарфоровое блюдо, доверху наполненное сосновыми шишками («Неужели и ими будем закусывать?» – с тревожным любопытством подумал Николай Николаевич).

– Дорогие гости, садитесь, угощайтесь блинками, чайком, медком, вареньем, да медовухой. Давайте румяные блинцы кушать да сказы-былины нашей бабушка Алины слушать, – заголосила Марьюшка.

– Ее родители, – кивнула «хозяйка» на почтенного вида старуху в пуховом платке и этнографической понёве, – знали владельца здешней усадьбы. Да и у нее память хорошая – все стародавние времена помнит.

Гости, Марьюшка, «хозяйка» и бабушка Алина расселись за столом. Налили чаю. А вот медовухи на столе не оказалось. Но и эту оплошность тут же поправили, на этот раз не предлагая гостям пороть Марьюшку: в глиняный кувшин, где должна была быть медовуха, из бутылки перелили водку. Экскурсанты, выпив ее из хохломских стопок, крикнули и стали закусывать блинами.

А сказительница начала свое повествование. Оно было образным и эмоциональным. Бабка, рассказывая о далеком прошлом, постепенно вспоминала такие детали, что, казалось, это не ее родители, а она сама близко знала теоретика отечественного воздухоплавания.

Вместе с гостями она ела блины, запивая их водкой, а после каждого глотка ее память прояснялась (несколько раз она обмолвилась о татарском нашествии так, как будто была его современницей). Но все-таки главным героем в ее рассказах был хозяин усадьбы.

– Хорошо жилось при барине! Хорошо! Не обижал он мужиков, нет, не обижал! Бывало, идет он по дороге, голову наклонил, ничего не видит, плащик теревит – ясно ведь, у него одна авиация в голове. А мужики к нему: «Барин, вся скотина сдохла!» А он их всех на свою ферму повел, чтобы им скотину выписали. Или после неудачной охоты заберется в овраг, где крестьянские куры пасутся, и ну палить по ним из двустволки. А крестьяне и рады – ведь за каждую курицу рубль серебром платил! Или сделает деревянную раму, натянет на нее красный ситец, оденет на себя эти крылья и катается на велосипеде по дорогам – изучает свою аэродинамику всей деревне на потеху.

Подъезжая на рейсовом автобусе к родному Ново-Чемоданову Николай Николаевич подумал, что Егор Александрович, кроме всего прочего, очень неплохой режиссер. Зато он, Николай Николаевич – талантливый дизайнер и архитектор. И вот он не стал бы украшать стол сосновыми шишками, насыпанными в старинные английские фарфоровые блюда, и, конечно же, не стал бы подавать водку в хохломских стопках. Потом, решив, что каждому – свое, Николай Николаевич отказался от возникшей было мысли завести в краеведческом музее на Верхней Лупиловке свою Марьюшку в сарафане и кокошнике, а также бабушку Алину в понёве.

Николай Николаевич, подумав о сказительнице, водке и блинах, вспомнил, что у него дома нет хлеба, и зашел в продуктовый магазин, а уже оттуда направился к своему особняку с ротондой.

Но то, что происходило за забором Хлеста, заставило директора краеведческого музея остановиться.

В прошлом уголовник, а в настоящем – пенсионер и рыбак сидел на завалинке со своей неизменной самокруткой во рту. Перед ним стояла стреноженная коза, а Хлест, щурясь от едкого дыма, напильником подпиливал ей передние зубы.

Николай Николаевич подумал, что второй раз за сегодняшний день ему удастся наблюдать за стоматологическим процессом. И неизвестно, который из них был страшнее.

Хлест стесал зубы жалобно блеющей козы настолько, насколько он считал нужным, развязал несчастное животное и со словами: «А теперь иди, милая», – вытолкал его через калитку на улицу. Он посмотрел вслед козе, которая галопом усакала по Верхней Лупиловке, оглянулся, увидел Николая Николаевича и сказал:

– Ну вот, теперь вишенка моя цела будет.

И дантист-любитель, сидя на завалинке, поведал Николаю Николаевичу историю про вишенку и козу.

Хлест был в большей степени рыболовом, меньше – охотником, и еще в меньшей степени – садоводом и огородником. Но годы брали свое, он с возрастом становился все сентиментальнее. Год назад Хлест впервые в жизни посадил дерево – вишенку. Посадил он ее у себя во дворе, у забора, там, где было больше света. Вишенка принялась, она цвела и хорошела. Но как-то раз Хлест увидел, как одна из коз, которых гоняли по Верхней Лупиловке, просунула свою противную козью морду сквозь штакетник и съела листочек с любимого деревца. Хлест, конечно, шуганул козу, а затем, не мешкая, укрепил забор напротив вишенки. На следующий день коза, обнаружив это препятствие, встала на задние ноги и сумела-таки дотянуться еще до одного листочка.

Хлест нарастил забор до трехметровой высоты, а кроме того стал подкарауливать коз, проходящих мимо его дома, и нещадно колотить их лопатой.

Через неделю у парнокопытных выработался условный рефлекс, и они сначала неторопливо брели по Верхней Лупиловке, но, поравнявшись с забором Хлеста, вихрем пронеслись мимо.

А сегодня случилось несчастье. Хлест был на рыбалке, а его бабу в это время увезли в район, в больницу. И в открытую калитку проникла коза. Она не только съела листья с вишенки, но и обглодала кору. К ее (козе) несчастью именно в это время вернулся Хлест. Он закрыл калитку, поймал во дворе животное и произвел ту самую стоматологическую операцию, которую и наблюдал оторопевший Николай Николаевич.

Краевед пошел к себе в музей. Он еще раз полюбовался на белые стройные колонны ротонды, отворил дверь бывшего купеческого особняка и зашел внутрь.

Николай Николаевич нежно провел пальцем по лезвию бердыша и пошел к себе в кабинет – в крохотную каморку, в которой помещались лишь письменный стол, стул, лампа да телефон. Он достал отчет Володи о доисторическом паровозе, окружил себя энциклопедиями по паровозному делу и принялся за работу. И чем больше он сравнивал найденный механизм с

литературными описаниями, тем больше убеждался, что Володе посчастливилось совершить настоящее открытие – ничего подобного ни в какой из книг не встречалось.

Николай Николаевич сделал набросок статьи (как человек честный и щепетильный, он включил в список авторов и Володю), а потом продумал, какие шаги надо предпринять для того, чтобы этот ценнейший образец древнего паровозостроения стал экспонатом именно краеведческого музея в Ново-Чемоданова (Николай Николаевич был уверен, что нахальные москвичи непременно захотят завладеть раритетом).

Николай Николаевич даже наметил, куда поставит паровоз – под навес у ротонды. Потом он составил список персон, к которым следовало обратиться по поводу происхождения паровой машины.

Первым в списке стоял главврач психлечебницы (который, понятное дело, ничего не мог знать об этом паровозе), последними были старожилы Ново-Чемоданова и окрестных поселков, в том числе и Хлэст.

Вспомнив о Хлесте, Николай Николаевич взглянул в окно. Он, к своему удивлению, увидел в соседском дворе супругу Хлеста. Хотя она по-прежнему была окрашена в необычный цвет цитрусовых, но ее оранжевое лицо выражало полное умиротворение.

Николай Николаевич еще полчаса проработал над статьей о паровозе, периодически прерываясь и размышляя о том, почему столь опасного инфекционного больного отпустили из больницы.

Но его творческий процесс был прерван: со знакомого двора раздался истошный крик Хлестовой супруги, а затем матерное рычание и самого хозяина.

В который раз за сегодняшний день Николай Николаевич выглянул в окно и увидел, как из дома рыболова сначала выскочила отчаянно визжащая Хлестиха, а за ней – Хлэст. Он был без обычной сигарки во рту, но зато с топором в руках.

Бабка, отворив калитку с воем: «Помогите, убивают!» – помчалась по Верхней Лупилке, а молчаливый, но вооруженный Хлэст – за ней.

Из проулка навстречу супружеской чете вышел живущий на Нижней Лупилке владелец козы. Скотовод был полон решимости выяснить, зачем Хлэст отпилил зубы у его животного. Но, увидев бегущую ему навстречу апельсинового цвета и орущую благим матом Хлестиху, а так же самого Хлеста с топором, развернулся и исчез в переулке.

Судя по крикам, Хлэст гнал ее метров сто. Потом он выдохся и вернулся домой. Здесь Хлэст выволок из дома во двор чистые, почти новые половики и с остервенением порубил их топором на мелкие куски.

Николай Николаевич по своим лабиринтам стал выбираться наружу, чтобы расспросить соседа о случившемся. Пока он шел, его философский ум работал, развивая различные версии. Самой правдоподобной для Николая Николаевича показалась следующая. У бабки в районе была выявлена какая-то неизлечимая, позорная болезнь (окрасившая ее в столь необычный колер) и Хлестиху отпустили домой – умирать. Узнав о том, что бабка ему изменяла, вспыльчивый ново-чемодановский Отелло решил ее наказать. В этой версии Николая Николаевича, правда, смущали две детали. Первая: бабка из района вернулась не угнетенная, а явно радостная. Вторая: а зачем Хлэст рубил половики? Неужели он служил престарелым супругам брачным ложем?

Размышляя над этим, Николай Николаевич вышел во двор. За забором у колоды, которая была украшенной пестрыми лоскутьями и воткнутым топором, стоял успокоившийся Хлэст и с наслаждением прикуривал от кипятильника. Электроприбор с хлопком перегорел как раз в тот момент, когда Николай Николаевич поприветствовал бывшего уголовника.

Хлэст не торопясь, посапывая вонючей «козьею ножкой», поведал Николаю Николаевичу, что его супруга, слава богу, здорова, а апельсиновый цвет ее кожи возник просто потому, что последние два месяца она питалась исключительно тыквами, а что же касается неболь-

шой размолвки, возникшей между ними, так это оттого, что сегодня его дражайшая половина, будучи в хорошем настроении (связанным с тем, что диагноз об опасном инфекционном заболевании не подтвердился), забылась, без разрешения проникла в его комнату и совершила там совершенно недопустимые и непростительные вещи: смела пыль со стен и потолка, вымыла пол, постелила на нем новый половинок, а потом разложила на рабочем (он же обеденный) столе все блёсны, грузила и крючки по отсортированным кучкам и самое страшное – добела вымыла любимую кружку, в которой Хлест лично заваривал цифирь.

Поэтому и последовало небольшое внушение.

– Ну, ничего, – добавил Хлест, – милые бранятся, – только тешатся. Вон бабка домойковыляет, – и рыболов махнул рукой в сторону Нижней Лупиловки. – А ведь как шустро бегать может! Как молодая!

Николай Николаевич вернулся к себе в музей.

Он бесшумно, как ниндзя, пробрался по темным коридорам к себе в кабинет, на ходу касаясь невидимых рукоятей алебард, эфесов шпага и мушкетных лож.

Краевед зажег свет, взглянул на часы и набрал номер телефона психлечебницы. Главврач был на месте. Поздоровавшись и представившись, Николай Николаевич спросил, не знает ли тот о происхождении первобытного паровоза.

– Ну что вы, это не черепановская модель. Да и не ползуновская, – сказал главврач. – Это мои пациенты в позапрошлом году делали. В качестве трудотерапии. К нам тогда попало сразу 12 человек из какого-то закрытого НИИ. Все с высшим техническим образованием. И все не то чтобы буйные, но, скажем так, очень активные. Ну вот, чтобы их как-то отвлечь и чем-нибудь занять, а заодно очистить территорию от металлолома (у нас тут целая свалка была – знаете, старые машины, холодильники, пылесосы), мы им предложили из этого что-нибудь соорудить. Вот они и сделали паровоз. Не настоящий, конечно (хотя у них и такая идея возникла, но я им не разрешил), а его модель. Без сварки, конечно. Я, знаете ли, все-таки побоялся им сварочный аппарат доверить. Получилась модель паровоза в представлении, так скажем, технически грамотных, но не очень уравновешенных в душевном плане людей. Но колеса крутятся. Другие пациенты нашей клиники, не столь интеллигентные, как творцы этой машины, даже толкали паровоз по территории учреждения. По асфальту, конечно. А самый спокойный контингент изображал вагоны. Так что, к сожалению, должен вас огорчить. Это не Черепанов и не Ползунов.

Поблагодарив за столь исчерпывающую информацию о происхождении паровоза, расстроенный Николай Николаевич с грустью посмотрел на почти готовую статью и отодвинул ее на край стола.

Муха колотилась о мерцающую люминесцентную лампу в полутемном коридоре, и та нежно звенела, как старинный хрустальный бокал.

Краевед взглянул в окно. Вечерело. По двору Хлеста три бройлера с телосложением борзой гоняли такого же четвертого. В клюве преследуемого висел мышонок, которого птица судорожно пыталась проглотить.

Николай Николаевич откинулся на спинку стула и задумался. Завтра в 10.00 музей открывался для посетителей; надо было подготовиться к экскурсии. А кроме того, ему очень понравились дорические колонны у входа в музей воздухоплавания. Николай Николаевич хорошо знал, где ночью можно раздобыть еще пару труб, которые, если их поставить вертикально и покрасить белой краской, будут полностью соответствовать всем канонам этого античного ордера.

Метис

«Ямаха» – не чета «Бурану». Тот давно бы заглох в березовом чапыжнике, у него на подъеме оборвался бы вариаторный ремень, а скорее всего он вообще бы в мороз не завелся.

«Ямаха» все эти горно-таежные невзгоды переносила отлично. А кроме того, на равнине развивала такую скорость, что никакому «Бурану» и не снилось. Недаром настоящие охотники никогда не гоняли на них зайцев и лис – у зверей никаких шансов на спасение не оставалось, когда по снежной целине за ними летела машина со скоростью под 100 километров в час.

Импортные «Ямахи» берегли. Их использовали только для особых охот. Как сейчас – для погони за волками.

В окрестностях города оставалась последняя стая. Последняя из трех.

Волки вокруг города были всегда. Но если в прошлом звери промышляли в основном косуль, лосей и маралов, то в этом году уже с осени из окрестных деревень стали приходиться вести о зарезанных козах, овцах, телятах и украденных собаках.

Егеря и охотоведы это объясняли просто – прошлая зима была суровая, много диких копытных погибло, и волки оголодали.

Как только лег снег, все три стаи быстро обнаружили по следам и две из них уничтожили.

Одну заметили в поле, вызвали вертолет и расстреляли с воздуха. Всего тогда добыли 11 зверей. На вторую стаю (там было семь волков) времени ушло больше. Ее трижды окладывали флажками, постепенно выбивая зверей. Последних двух волков из этой стаи догнали на снегоходах на льду замерзшей реки.

А вот за третьей, небольшой (в ней было всего четыре волка – двое взрослых и двое переярко) гонялись почти до самого Нового года.

Эта стая просачивалась через оклады, от вертолетов пряталась в ельниках, от снегоходов – в березовых чапыжниках или в гольцах и по-прежнему кормилась у деревень: зарезала лошадь, пару овец и несколько собак.

Сегодня одному из охотников повезло. Он, выехав на «Ямахе» на окраину верхового болота, заметил, что вожак неосмотрительно рискнул перевести зверей через марь. Наст был плотный, и волк, видимо, полагал, что замершее болото они на махах проскочат быстро.

Но он ошибся. «Ямаха» по такому насту «выдавливала» все сто двадцать. И уже через минуту охотник был рядом.

Загремели выстрелы. Один из переярко упал. Тогда вожак развернулся, бросился на стрелявшего, сидевшего в снегоходе, и, тоже сраженный пулей, ткнулся в снег рядом с машиной. А матерая волчица и последний молодой, как будто осознав, что у них было всего несколько секунд – как раз те несколько секунд, когда охотник вставлял в карабин новую обойму, успели отбежать на сотню метров.

Охотник передернул затвор и выстрелил. Переярок закрутился на снегу. Охотник, не обращая на него внимания, стал стрелять по волчице. Она металась из стороны в сторону, тем не менее, стремительно сокращая расстояние до спасительного ельника. Оставалось всего несколько метров, когда после очередного выстрела волчица упала, но тут же вскочила и скрылась между деревьями.

Охотник подъехал к переярку и добил его. Потом подогнал «Ямаху» к тому месту, где падала волчица. Крови не было.

Следы одинокой волчицы не встречали нигде – ни в тайге, ни на верховых болотах, ни в гольцах. И охотники решили, что она ушла. Тем более, что и скот у крестьян перестал пропадать. Только у одного промысловика исчезла лайка. Заблудились в тайге, наверное.

Но волчица никуда не делась. Она жила на окраине города, промышляя на свалках, кормясь отбросами и здесь же ловя бродячих собак. Перемещалась она исключительно ночью по

дорогам. Поэтому охотники следов ее не видели. Несколько раз она попадалась на глаза горожанам, но те по неопытности принимали ее за потерявшуюся овчарку. Один даже бросил ей из жалости бутерброд с колбасой. Но она, боясь быть отравленной, угощение не тронула.

Настал февраль – месяц волчих свадеб, но волчица оставалась одинокой. Сколько она ни прислушивалась по ночам, знакомого воя ниоткуда не доносилось. Два раза она сама пыталась звать собратьев. Но в ответ на ее голос бешено забрехали собаки не только всех окрестных деревень, но даже послышался громкий бас ньюфаундленда, жившего на балконе многоэтажного дома.

Кавалеров у нее не было, если не считать одного сладострастного кобелька – старого спаниеля, такого жирного, что волчица не голодала целую неделю.

Пришла весна, потеплело, земля очистилась от снега. Теперь волчица безбоязненно ходила и по лесу, и по лугам, и по полям, не опасаясь, что ее выследят.

Летняя жизнь стала более сытой – волчица ловила мышей, задавила двух оленят, а кроме того и на знакомой свалке, тоже освободившейся от снега, корм стал более доступным. Но через неделю там появились конкуренты – стая одичавших собак. Зимой они держались у гаражей, стройплощадок и вокзалов, где их подкармливали, разгоняя скуку, сторожа. А весной псы ушли из города и, объединившись, стали жить на свалке.

Собаки были разномастными, косолапыми и коротконогими дворнягами. Тем не менее, собачья банда представляла для нее реальную угрозу, так как дисциплинированная свора действовала как единое целое. Но, конечно же, не так организованно, как волчья стая.

До настоящей схватки не доходило. Один раз ей пришлось придавить горло одному наглomu кобельку (ему повезло, что это случилось сытым летом, а не голодной зимой, тогда бы ее челюсти сработали с полной нагрузкой) и серьезно порвать плечо достойному противнику – крупному псу, отдаленному потомку западносибирской лайки.

После этого стая обходила ее стороной, облаивая только издали. А волчица покинула свалку и стала охотиться у деревень.

Логово она устроила, расширив старую лисью нору на крутом берегу небольшой речки, прямо за околицей.

Волчица к своей норе никогда не ходила напрямик. Чтобы не оставлять следов, она сначала шла по мелководью, оттуда прыгала на большой прибрежный камень, потом – еще один прыжок через стену крапивы, а дальше, уже по натоптанной, но скрытой бурьяном тропе – к своему дому.

Прямо из норы она слышала деревенские звуки – мычание коров, бляенье коз, кудахтанье кур, скрип колодцев и ворот, урчание автомобильных моторов и человеческую речь. Оттуда ветер доносил до нее запахи: опасный – машинного масла, теплый – дыма и аппетитный – скотного двора.

Но она, чтобы не выдать себя, не охотилась у этой деревни, предпочитая ходить за несколько километров к соседним.

Лишь однажды она не сдержалась, и это чуть не погубило ее.

Одна глупая курица забрела далеко за околицу. Добыча была столь заманчивой, что волчица, забыв об осторожности, подкралась к белому пятну, копошащемуся в кустах, бросилась на курицу и задавила ее. Все произошло молниеносно и бесшумно (сказывалась практика охоты на глухарей и тетеревов), и волчица с добычей неслышно по кустам заскользила к речке.

И здесь произошло непредвиденное. Она, как всегда, неслышно брела по мелководью. Перед тем как прыгнуть на знакомый камень, она обернулась и вздрогнула от неожиданности. Напротив, на другом берегу речушки, сидел мальчик с удочкой. Волчица на секунду замерла, затем вскочила на валун и уже известным приемом перемахнула через заросли крапивы. Но в нору не пошла, а, положив на землю злополучную курицу, залегла на тропе. А с реки донесся детский крик:

– Папа, папа, я волка видел! С курицей!

Послышались шаги.

– Какого волка? – раздался мужской голос.

– Серого. Как в сказке. И с курицей в зубах.

– А Иван-царевич на нем не сидел?

– Иван-царевич не сидел, а курица была.

– Фантазер! Волки в тайге водятся, а здесь деревня. Лови лучше рыбу, или вот что, пошли обедать. Бабушка уже все приготовила.

И шаги двух человек – большого и маленького – вскоре затихли.

Волчица облегченно вздохнула, подняла с земли еще теплую курицу и побрела к своей норе – тоже обедать.

Прошло сытое лето. Волчица, несмотря на соблазн, не трогала на околицах глупых подросших беззаботных петушков (которые к холодам все равно попадут под нож) и даже подружилась с двумя деревенскими песиками (на случай голодной зимы).

Наступила осень, землю припорошил первый снег. Волчица снялась с насиженного места, и, чтобы ее вновь не вычислили по следам, опять было перекочевала к городу, к свалке.

Там она встретили знакомую собачью стаю. Стая увеличилась и взматерела. Из нее исчезли почти все мелкие шавки, зато прибавилось крупных псов. И самое главное – сменился вожак. На месте бывшего лайкоида теперь царствовал огромный кобель, в котором угадывалась кровь и немецкой овчарки и добермана.

Волчица поняла, что это серьезные конкуренты, что с ними лучше не связываться, и ушла с кормной свалки к своей деревне. Там она сначала съела своих знакомых кавалеров, а затем по ночам стала мышковать, разрывая на полях скирды соломы.

Собачья стая со свалки нашла ее сама. Вернее не стая, а вожак. Следы выдали и ее, и, самое главное – ее состояние. Она приняла его ухаживание, так как это был единственный шанс завести потомство.

Он был с ней около недели, а потом ушел назад, на свалку. Пес повел себя по-собачьи, а не по-волчьи. Волк бы остался и помог ей выкармливать щенков. Но вожак был всего-навсего собакой, хотя и сильной, но собакой. Волчица знала, что может пойти с ним и ее там примут, но осталась в своем логове.

Ей, беременной, мышей уже не хватало, и она стала резать скотину.

В конце апреля в логове она принесла четырех щенков. Теперь ей приходилось промышлять чаще. Однажды она не удержалась и задавила старого козла прямо на околице деревни. Никто не видел, как она охотилась. Но когда она жадно ела, волчицу заметили из проезжающей машины и приняли за собаку. И рассказали об этом в деревне.

К ее несчастью в деревне у родственников гостил охотник. Волчатник. По имени Соломон. Вообще-то настоящее имя Соломона было Иван Иванович, а Соломон – просто его сельское прозвище, совершенно не отражающее особенности его характера. Соломон начисто был лишен предприимчивости. И к мудрецам его тоже нельзя было отнести. Зато у него был отзывчивый характер и золотые руки. В Сибирь он переселился из Ставрополя. Сначала, как водится, с желанием подзаработать, а потом привык и обосновался. Он был надежным работником – почти непьющим, безотказным и знающим или быстро осваивающим практически любую специальность – от моториста до строителя мостов. Ухватистость помогла ему уже через несколько лет стать к тому же еще и знаменитым охотником. Промысел копытных он освоил быстро, а потом несколько лет занимался почти исключительно медведем, закончив охотиться на «хозяина тайги» когда в окрестностях не осталось косолапых, и, наконец, перешел на самого трудного зверя – на волка. Он настолько изучил повадки этого чрезвычайно умного хищника, что одинаково успешно охотился на облавах, капканами и на приваде.

Научился Соломон находить и волчьи логова. Делал он это настолько виртуозно, что однажды несказанно удивил даже опытных промысловиков. Летом Соломон на неделю подрядился работать в рыболовецкую бригаду. С ним в вертолете на одно из тундровых озер летело четверо охотников. Пока вертолет кружил над озером, Соломон, высунув голову в иллюминатор, приметил пару логов, где, по его представлениям, должны были обитать волчьи семьи. Вертолет сел у рыболовецкой базы. Охотники пошли выпивать, рыбаки – принялись, было, перебирать сети и невода, но быстро прекратили это занятие и присоединились к охотникам. Только один Соломон направился к ближайшему замеченному им с воздуха, перспективному логоу. Через три часа он вернулся. Подвыпившие рыбаки и охотники быстро протрезвели, когда Соломон из своего рюкзака вытащил трех только что изъятых волчат. Охотники начали кричать, что этих щенков он нарочно тайно привез с собой в вертолете. Они просто не могли поверить, что человек, впервые оказавшийся в незнакомом месте, так быстро смог обнаружить волчью нору.

Соломон был известен как опытный следопыт не только среди промысловиков, но и среди профессиональных зоологов.

Несколько раз из Москвы специально к Соломону приезжали два кандидата наук, занимающиеся *Canus lupus*. Соломон нашел для них четыре логова и помогал метить волчат пластмассовыми серьгами. Кроме того, москвичи выбривали у волчат бока, поочередно прикладывали на каждую сторону шаблон с вырезанной цифрой и пускали из специального баллончика на голую кожу жидкий азот. После этой процедуры кожа настолько промерзала, что становилась жесткой и звенящей как пергамент. Зоологи уверяли Самсона, что потом на этом месте вырастет чисто белая шерсть, и по ней можно будет издали определить личный номер зверя. Соломон, хотя и не поверил столичным ученым, но попросил разрешения самому пометить волчонка. Ему дали трафарет с цифрой «6».

После этого москвичи не приезжали, а Соломон, сколько ни охотился, так ни разу и не видел волков с белыми цифрами на боках. И охотник решил, что на сибирского зверя московский азот не действует.

В деревне, где гостил Соломон, ему, конечно же, рассказали и про задавленного козла, и о том, как прошлым летом мальчик якобы встретил волка. Соломон сходил к остаткам несчастного копытного, изучил «собачьи» следы и понял, что мальчик был прав. Но у Соломона не было времени, он торопился домой, в город.

Охотник снова приехал в деревню только через месяц. К этому времени у волчицы из четырех родившихся осталось только двое щенят. Двое других оказались слабыми и погибли от голода – ведь у нее не было волка, который кормил бы и ее, и выводок.

Оставшиеся в живых по окраске не были похожи на мать. Вероятно, их отец имел очень сложную и запутанную родословную. Один волчонок, тот, что поменьше, был весь черный, только из-под левого глаза спускалась пепельно-серая полоска – словно след от слезы. Окраска другого, более крупного, была удивительной – по серому волчьему фону его шкурки были хаотично разбросаны разноцветные пятна.

Приехавший в середине лета Соломон сходил на речку, без труда нашел логово и забрал обоих волчат. В деревне он поместил их в пустующий, обнесенный штакетником загон для кур.

На пленников пришли смотреть соседи.

– Так это же не волки, – говорили они. – Это собаки. Щенята. – И протягивали руку – поласкать кутят.

Черный сероглазый щенок скулил и тыкался влажным носом в ладони. А желтоглазый, пятнистый, когда к нему подносили руку, припадал к земле, прижимал уши и шипел. Рычать он еще не мог.

– Славный сторож будет, – говорили соседи. – Отдай его нам.

– Пока обоих себе оставлю, – отвечал Соломон. – Подращу, а там посмотрим. Может, и отдам одного.

Но на следующее утро у него остался только один пленник. Черный.

Волчица ночью пробралась во двор, сделала подкоп и унесла пятнистого.

Утром Соломон сразу пошел к знакомому логову у реки. Как он и предполагал, оно оказалось пустым – волчица перетащила щенка в безопасное место. Охотник на всякий случай поставил у входа в нору капкан, вернулся домой и поставил еще один – перед лазом, вырытым ночью зверем.

Капканы простояли неделю, но в ни никто не попался. И Соломон снял их. Он знал, что волчица больше здесь не появится. И еще он знал, что она живет где-то поблизости, усиленно откармливая своего единственного отпрыска: и в его деревне, и в соседних начал пропадать скот – волчица принялась охотиться и там, где раньше не промышляла.

А к зиме разбои прекратились. Волчица с прибылым куда-то откочевала. По всей округе на скотных двора воцарился мир. И самыми большими событиями стали проникновения хорьков в курятники.

Соломон подарил черного щенка одному дачнику. Через полмесяца тот отвез его в город. Там кутенок быстро надоел хозяину, и его отдали туда, куда обычно отдают всех таких же ненужных щенков, – сторожам коммунальных гаражей. Там уже жило шесть собак. Взяли и этого. Тем более, что дачник уверял, что он – наполовину волк. Сторожа разглядывали ласкового, черного как смоль щенка и не верили.

Ему придумали несколько имен. Одни называли щенка Чернышом, другие – Угольком или Антрацитом, третьи – Лумумбой. Но прижилась совсем другая кличка – Снежок.

У Снежка началась вольготная жизнь. Стая приняла его дружелюбно. У собак было много вкусной еды. Во-первых, сторожа приносили объедки со своего стола. Но лакомства поставляли не они, а владелицы автомобилей. Дамочки тащили и подпорченных копченых куриц, и несвежую ветчину, и залежавшуюся дорогую колбасу, и собачьи консервы, от которых отказались их домашние питомцы. В особенно сытные дни можно было видеть всю объевшуюся свору, лежащую где-нибудь в теньке, и вокруг каждой собаки громоздились кучки не съеденных подношений.

Пока Снежок был щенком, он мог безбоязненно подойти к любому взрослому псу, поедающему свою порцию, и попробовать – чем того сегодня угостили.

Но однажды, когда Снежок, по привычке приблизился к миске вожак, из которой он еще вчера беспрепятственно ел, здоровенный кобель – удивительная помесь дога с колли: пятнистый, короткошерстый, но с роскошными шерстяными «шароварами» на задних лапах, – неожиданно для Снежка оскалился и так грозно зарычал, что тот испугался и направился к миске другой собаки. Но и там на него не только рывкнули, но и пребольно прихватили зубами за загривок. И Снежок понял, что он повзрослел, и теперь ему придется есть только из своей собственной посуды. Кроме того, подростку щенку стало ясно, что у каждой собаки в стае было свое место. А у него, у Снежка, когда он вышел из щенячьего возраста, это место было последним. Всего за день старшие товарищи научили его, что подойти к кускам, принесенных добрыми автовладелицами, он может лишь после того, как насытится вся стая. Сначала вожак, затем остальные, а он, Снежок – в последнюю очередь.

Шло время, он рос, крепчал, волчья кровь брала свое, и однажды при дележе добычи Снежок так рыкнул на старшего по рангу, что тот сразу же поджал хвост и отошел в сторону. Так Снежок в стае стал уже не последним, а предпоследним.

Хорошая пища и хорошая наследственность делали свое дело. Снежок стремительно матерел. Он стал драчливым, и его социальный статус неуклонно возрастал. Через год выше него в этом собачьем табеле о рангах оставался только вожак.

В конце концов Снежок подрался и с ним и, наверное, победил бы, но тут прибежали сторожа и отбили его у Снежка. Вспомнив слова Соломона насчет матери-волчицы и то, как жутко Снежок воеет по ночам, сторожа посадили его на привязь.

Казалось, жизнь цепного пса вполне устраивала пленника. Дамочки продолжали приносить ему колбасу и только радовались, когда огромный, черный, укрошенный поводком пес ластился к своим кормилицам, заглядывая им в глаза и тыча носом в пакет с гостинцами.

Только одного Снежок не мог спокойно переносить. Он сатанел, видя, с какой наглостью справляет малую нужду вожак на самой границе участка, где пленник из-за привязи никак не мог достать обидчика.

Следствием этой ненависти был страшный шум, лай и вой в одну из осенних безлунных ночей. Когда смотрящие телевизор охранники выскочили из своей сторожки наружу, они обнаружили смертельно раненого, с перегрызенным горлом вожака, хрипевшего в луже крови. Остальные собаки в страхе забились под машины. Не было только Снежка. Он, наконец, сумел оборвать свой кожаный поводок.

С неделю черный пес бесцельно бродил по городу и без элитной колбасы, ветчины и карбоната быстро отощал. Потом Снежок нашел хлебное место у двери привокзальной столовой. Там уже побирались потерявшийся шпиц и какая-то дворняжка. Но, увидев Снежка, сразу же потеснились.

Троица дежурила у столовой, а на ночь перебиралась в соседний подвал. Рабочий день у них начинался с обеда, так как на завтрак людей ходило мало, ели они быстро и почти не подавали. В обеденный перерыв народу было много, люди не спешили, были добрее и подавали охотно. У каждой из дежуривших собак были свои приемы выпрашивания. Шпиц, например, так жалобно поскуливал, что трогал сердца даже шоферов. Дворняжка научилась становиться на задние лапки, скрещивала перед собой передние и потешно поднимала и опускала их. Ее, как правило, одаривали привокзальные торговки. Меньше всего перепало Снежку. Его огромный рост и мрачноватый взгляд никак не вязались с обликом нищего. Но Снежок не оставался голодным, экспроприируя еду у своих товарищей.

Лишь однажды Снежка покормили до отвала. Рядом с ним присел мужик с авоськой. Он был коротко стрижен, и все руки у него были синие от татуировок. Мужик посмотрел в серые глаза пса (посторонний наблюдатель, наверно, заметил бы, что их глаза чем-то похожи), достал из авоськи бумажный пакет с сосисками и по одной из рук скормил их кобелю. Затем погладил его по огромной голове и сказав: «А ведь ты не собака», – ушел.

А через день ушел от столовой и Снежок.

Он начал бродяжничать по городу. К его удивлению оказалось, что весь город поделен на участки с четкими границами, контролируемые своей собачьей стаей. И каждая с большим недоверием относилась к появлению чужака, то есть Снежка. Обычно псы сразу объединялись и изгоняли его. И даже он, уже возмужавший и опытный боец, не мог противостоять нескольким организованно нападавшим собакам.

Наконец одна небольшая стая приняла его. Последним в ней он не стал (благодаря своим физическим данным), однако был далеко не первым. И пес понял, что и здесь место вожака надо было завоевывать.

Авторитет можно было заслужить не только силой (в предках вожака этой стаи, наверное, были мастифы), но в основном житейской мудростью, прекрасным знанием своих владений и тем, что и когда там происходит.

Стая кочевала по своему участку, добывая себе пропитание из помойных баков (при этом надо было успевать раньше машины, в которую грузилось их содержимое), не брезгуя при этом крысами и кошками, ночевала в нескольких подвалах (причем вожак никогда не устраивал две ночевки подряд в одном и том же месте), отстаивала границы своей территории в стычках с тремя соседними стаями. Но однажды, к удивлению Снежка, их стая без конфликтов объеди-

нилась с другой, когда надо было доказывать свои права, но уже не на уровне дворов, а на уровне улиц.

И еще их вожак всегда безошибочно угадывал, когда в их дворе появится машина, из которой неожиданно выскакивали мужики с огромными сачками и ловили бездомных собак.

Однажды вечером, когда стая, не торопясь, мирно трусила к месту ночевки, на обочине остановилась милицейская машина. Из нее, покачиваясь, вышел сержант, расстегнул кобуру, достал свой «Макаров» и выстрелил в жоака. И, даже пьяный, не промахнулся. А потом с чувством выполненного долга сел в машину и поехал дальше. А жоаком стал Снежок.

Через год у взматеревшего, огромного, черного сероглазого пса с широченной грудью была самая сильная и организованная группа, которая беспрепятственно проникала на все три участка соседних стай. Потом Снежок расширил владения своего клана и на две соседние улицы.

Огромный рост, волчья сила и хитрость не только делали его непререкаемым авторитетом среди собак, но и вызвали повышенный интерес у людей.

Однажды он прихватил кобелька, не по рангу приблизившегося к загулявшей суке. Жильцы соседних домов были настолько взбудоражены истошным собачьим визгом, а затем и видом огромного волкодава, терзающего маленького песика, что вызвали милицию. Милиция на этот раз огонь открывать не стала, но вместе с подоспевшими ловцами собак попыталась поймать Снежка. Милиция вскоре уехала, а живодеры гонялись за огромным черным кобелем несколько дней. И когда пес понял, что люди от него не отстанут, он ушел из своих владений.

Только через месяц Снежок примкнул к другим собакам, которые, как и он, сторонились людей и поэтому жили в пригороде. Питались они на свалках, а также охотились: как на домашний скот, так и на косуль, маралов и лосей.

В новой стае Снежку опять пришлось начинать все сначала – от рядового необученного охотника, бывшего горожанина, совершенно неприспособленного к суровой таежной жизни. В конце концов и в этой стае Снежок занял место лидера. Он, в чьих жилах текла кровь и собаки и волка, выросший среди людей и воспитанный одичавшими бездомными псами, стал признанным жоаком изгоев, промышляющих и в городе, и на пригородных свалках, и в окрестных лесах.

Три года подряд волков в окрестностях города никто не видел. Однако на четвертую зиму охотники и егеря начали получать жалобы на серых хищников. И снова все силы были брошены на борьбу с новой волчьей стаей, пришедшей откуда-то с севера. Она отличалась необыкновенной дерзостью, «работая» и в глухой тайге и смело орудуя в населенных пунктах – от далеких хуторов до городских окраин.

Стая волков уже шестой день голодала, но вожак, принохиваясь, всё бродил и бродил вокруг одинокой, запорошенной снегом палатки, стоящей на берегу реки. В палатке была собака. Хотя она, затаившись от страха, лежала без движения, вожак чуял ее и даже слышал ее дыхание. Брезентовая дверь палатки была зашнурована, но нижние петли разошлись настолько, что волк легко мог ползком проникнуть внутрь. Но вожак, опасаясь капкана, не мог поверить в такую легкую добычу. Он, сколько не принохивался, не чувствовал запаха хорошо проваренного и протертого хвоей железа. Но все равно так и не решился напасть.

Когда волки отходили от палатки, сидевшая в ней лайка тихонько грызла запас галет, хранившихся в картонной коробке. За эти галеты ей попало. Мимо, с дальнего зимовья на «Буране» проезжал промысловик, возвращавшийся с добычей и с двумя своими собаками – молодыми кобелями – на базу. Он на всякий случай заглянул в палатку – проверить свой склад и к своему удивлению нашел там суку, пропавшую неделю назад. Сначала хозяин приласкал ее, а затем, обнаружив разгрызенную коробку и кучу собачьего помета прямо в брезентовом домике, несколько раз перетянул ее по спине веревкой. Но лайка не обижалась. Она была рада, что осталась жива и ни на шаг не отходила от охотника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.